

УРУЙ! АЙХАЛ РОССИИ! УРУЙ! АЙХАЛ КИТАЮ! (ИЛИ «БИЛЕТ В КИТАЙСКОЕ МЕТРО»)

Рассказ

Вот что значит – молодая жена! Ей всё в интерес, и за пять дней, будучи в Пекине по делу, вне программы мы успели обежать значительную часть города и окрестностей: Дворец Императора Гугун, китайский вещевого рынок (а это особое испытание), взошли на Великую Китайскую стену, что в восьмидесяти километрах от Пекина на вершине горного хребта, трижды бывали в театре, отведали национальной кухни в ресторане. И уж куда бы я даже в мыслях ни пошёл – часа три мотались по зоопарку. Всё своим ходом, в метро, такси, среди людей, которые большей частью ни русского, ни английского не понимают, как и мы ни бельмеса в китайском. При этом ситуации дарили встречи с людьми, которые видятся показательными.

Прибыли мы в Пекин на Дни культуры республики Саха-Якутия в рамках дней культуры России в Китае. Громадный, двадцати трёхмиллионный мегаполис встретил нас после ночного перелёта туманом и смогом. Пугающим образом будущего из фантастического фильма увиделась пекинская улица. Словно в поволоке, в масках с удлинённым носом, как у противогазов, с клапаном сбоку, двигались потоком люди, делаясь похожими на двуногих собак. Велосипедисты сновали повсюду без разбора, дороги ли это, тротуар, они как-то высыпали веером возле светофора, каким-то чудом успевая увильнуть от несоблюдающих порядок машин. Дышать было ощутимо неприятно.

С картой в руках мы отправились в сердце Пекина – «Запретный город»: Императорский дворец, где прежде без приглашения запрещено было бывать иным. Был ранний вечер, но темнота стучалась на глазах, так что на станции метро мы вышли, по ощущению, глубокой ночью. Врата дворца были уже заперты, а улочки вдоль исторической стены абсолютно пустынные. Невзрачные дома, редкие маленькие магазинчики, несоответственно скромным с виду обиталищам роскошные автомобили, припаркованные к обочине вдоль неширокой дороги. И обязательный милиционер в тряпичной шапке-ушанке на углу.

В обиходе эти кварталы также зовут «Запретным городом» – потому что здесь запрещено строить новые здания и делать второй этаж к старым домам, сохраняя былой лик.

Мы тоже купили маски, чтобы следующий день – день открытия Дней культуры – встретить, фильтруя воздух.

Но с утра, ещё в окно гостиницы, проклюнуло ясное, доброе, округлое китайское солнце. Местные русскоговорящие люди сообщали по пути в Российский культурный центр, что такие солнечные дни в Пекине даже летом бывают раз-два и обчелся!

Предстояла презентация книги Народного писателя Якутии Николая Лугинова, вышедшей здесь на китайском языке под названием «Граница» (в российском издании – «Хуннские повести»). И нельзя было не увидеть в выглянувшем радостном солнце знамения, не подумать, что один из героев «Границы» великий Лао Дзы – этот вечный Старый Младенец, как звучит в переводе его имя, – принял нас, книгу и её автора. При этом сам Николай Лугинов отсутствовал, так что в обсуждении звучали два имени: Лугинов и Лао Дзы, один в далекой Якутии, другой в далекой истории.

Николай Лугинов в своих произведениях обратился к прошлому, но по сути они очень современные. В 90-е, во времена очевидного распада государства, он взялся за тему создания империи на материале жизни Чингисхана, выявляя взаимозависимость личности и государства, челяди и знати, народа и власти.

Для Китая и России в 20-м столетии «граница» одинаково означала тотальную ограниченность: мы, как казалось, жили страхом перед чёткими гранями системы, а там, за границей, была для нас иная жизнь, запретная, сладкая. И вот её нет, прежней границы, а... страха не убавилось. Наоборот. Стираются грани между добром и злом, можно и нельзя и, как любит приводить пример, объясняя свой замысел, Николай Лугинов – грани между мужчиной и женщиной...

Граница в его творениях – символ нашей жизни. Ибо мы везде, во всём живём в пограничной ситуации. Война привычно уживается с миром. Нищета – с сытостью, развал – с видимостью активной деятельности. Человек, призванный по долгу службы «охранять», становится «нарушителем». Именно на пограничье наук в двадцатом столетии сделаны величайшие открытия.

«Без пограничника – нет контрабандиста», – философски рассуждает Николай Лугинов. – Но и без контрабандиста – нет пограничника».

Именно на пограничной заставе Лао Дзы и сформулировал идеи даосизма.

Мне, как близкому другу Николая Лугинова, даже неловко говорить, потому что начинает казаться, будто я хвалюсь, но китайские литературные профессора, доктора наук, литературоведы один за другим, выходя к трибуне для доклада, утверждали, что давно не читали книги с таким проникновением в даосизм и образ Лао Дзы.

В «китайских» литературных опытах Лугинова присутствует гиперболизация и фантазмагория: хороший человек древности в двести лет жизни выглядит мальчиком, а его мама – просто невеста! «Отстранённые» образы, как преломляющая свет призма, дают возможность сделать выпуклыми и более заметными определённые стороны бытия или характера. Автор предлагает читателю игру – меняя стереотипы и возвращая нас всех на нашу историческую прародину, где человек от сотворения его был ребенком и рисовал картины не такими, какими видит их глаз, а такими – какими видит сердце!

Китайские путеводители предупреждают, чтобы не садились в случайные машины – только такси, не ездили в маршруты, которые предлагают на улице. Но мы же русские люди! У нас и в сказках герой, будь он дурак или царевич, всегда поступает против правил.

Мы отправились на Великую Китайскую стену, до которой пару часов езды по автомагистрали, по уличному преysкуранту. Сопровождать нас взялся маленький обаятельный гид, назвавшийся Джеком. Почему «Джек» – скоро стало ясно: потому что «Потрошитель». Не успели оглянуться, как уже шли с шёлковым одеялом, которое не собирались покупать, и упаковками чая, который купить рассчитывали, но не за такую

же цену! В Китае везде чай дорогой, а в специализированном магазине самая дешёвая обычная коробка стоит примерно две тысячи рублей в переводе на наши деньги! Дальше тоже всё стоит денежку: платная дорога, выход к Стене, парковка. Джек обладал обескураживающей непосредственностью: так, ткнув пальцем, он с большой радостью заинтересовался моим носом, почему он такой, картошкой?! На что мне пришлось протянуть кулак и на чисто русском языке пояснить, что если такой вот колотушкой вдарить по носу, то непременно, батенька, получится такой замечательный нос, как у меня. Гляжу, он русский понял!

У Великой Китайской стены я внезапно на уровне ощущения открыл в себе постижение даосизма. Был выбор: подняться на канатной дороге или ножками, по ступенькам. Здесь мы с женой были заодно: у древних фуникулеров не было. «Канатка», правда, ведёт только до реставрированной части, хочешь дальше и выше, надо ещё пошагать. И мы добрались до нереставрированной её части, где на полуразрушенную стену можно уже и присесть, оглядеться. Вдохнуть благодать. Обратнo жене хотелось скатиться по желобу на санках – это с серьёзной высоты, небезопасно, неспроста возле каждого виража дежурит человек в шинели. Я в жизни ребра наломал, но не в этом даже дело. С учащённым дыханием, в ощущении вышины, вдруг ясно понял: мне не нужны аттракционы. Аттракционом для меня стала сама жизнь – тучка плывёт, солнышко выглядывает... Великая Китайская стена – это же как её по горному хребту, с перепадами высот – выкладывали?.. И нет памяти о тех, согбенных с камнями, а она есть...

Слияние с высшей общей сутью – с Дао – оно нашло с наполнением широты обзора, света, высоты. Поднебесная... «Да, – сказал я, – ты катись, я куплю билет, а я уж ножками. Только тормози, смотри, как по-разному катятся...» Но женщине не хотелось одной – в женщине всегда есть мистический взгляд на присутствие двоих – чёткое знание зависимости Инь и Янь. И мы выбрали компромисс – спустились вниз на фуникулер, в кидячи рядышком.

В китайском ресторане нам подали «самовар»: тазик, перегороденный пополам. Берёшь палочками кусочки сырого мяса, рыбы, овощей – что заказали, – опускаешь в половину с кипящим настоем приправ и пряностей. Вынимаешь – китайцы палочками, мы – половником, – макаешь для охлаждения в жидкость, которая в другой половине, и в рот. Мне, жившему в юности в Средней Азии, очень понравилось! Но жена есть не смогла – перчено!

И уж так заводно крутились официантки в национальных убранствах: не понимая слова, мы друг друга понимали! Я думал: древнейший народ выглядит младо народом! И тот, маленький Джек Потрошитель, китайское имя которого звучало как Фэй, приехавший в Пекин из северной провинции, такая космическая частица в зарабатывании по всему свету живым организмом Китая денег: он вряд ли заботится о добром имени, своем ли, страны, но дело делает. Так я думал о современных китайцах, но тотчас, в метро, мой взгляд обрёл иную плоскость.

Метро в Пекине не имеет фиксированной цены: она зависит от расстояния. Мы с женой стояли у автомата по продаже проездных карточек, пытаюсь определить, на какие же нам точки ткнуть, а он нам упрямо выдавал денежку обратно. Китайка, рослая, степенная, с мужем и ребёнком, отодвинула руку жены с денежкой, сунула свою – достоинством в 10 юаней, выяснила, куда нам, коснулась нужных точек и протянула билет, показывая рукой, что это вам подарок. Пустяк, вроде, где-то сотня нашими, да не деньгами тут мерить! Она ведь это – от имени Китая. Нам, русским, россиянам. И вообще – отношение к нам мы повсеместно обнаруживали предельно уважительное. Даже охрана в метро, тщательно осматривая при входе своих, нас зачастую пропускала жестом, уступая дорогу.

Во Дворце Императора Гугун мы взяли на прокат «гида» уже электронного – небольшой, наподобие смартфона, аппаратик, который начинал рассказ, стоило подойти к тому или иному историческому памятнику. Два дерева, переплетённые стволами, – «Деревья влюбленных» ждут всех на выходе из Дворца Гугун. Постояли и мы с женой под этим сплетением вековых деревьев.

У сайса – должен быть вкус сайса, – говорил мне, угощая, еще в 95-м году знаменитый якутский повар Тарбыхов, лауреат всех возможных конкурсов и кормилец олимпийской сборной. Его слова в моём восприятии обрели более широкий смысл, нежели просто секрет приготовления блюда из зайца. В российском посольстве в Китае Тарбыхов устроил настоящее пиршество: фаршированный омуль, осётр с мягкими хрящиками и, конечно же, строганина!

У сайса – должен быть вкус сайса! – думалось мне на заключительном вечере Дней культуры республики Саха-Якутия в Пекине «Искусство Земли Олонхо». В двухтысячном зале Театра Цинху с аншлагом шла премьера спектакля «Князь Игорь» Государственного театра оперы и балета им. Д.К. Сивцева – Суорона Омоллона г. Якутска. Зрелище необыкновенной красоты! Пение, танцы – всё мастерски, наполнено, изящно!

Когда-то режиссер Андрей Борисов за свой дипломный спектакль получил Государственную премию СССР. В следующем году Борисову 65, он молодежав, подвижен, будто и не было лет с той поры, когда мы знакомились молодыми людьми: он ставил спектакль во МХАТе, и все вокруг утверждали, что мы с ним, якут и русский, очень похожи. Это было так. Сибиряки! Почти полвека редких, удивительных театральных работ, огромное признание! Но в «Князе Игоре» он, как увиделось мною, сознательно старался выложиться, подвести определенный итог. Блистательный спектакль, абсолютный успех!

В зале я обнаружил нашего гида Джек-Фэя. Грешным делом, я был уверен, что Джек – охочий до денег, продаст билеты, которые мы ему презентовали: перед началом спектакля у касс толпились люди, «ловили лишние билетки» у прохожих. Не продал, привёл благообразную, явно «интеллигентной косточки», жену. Подошли они к нам сияющие, и теперь уже точно Фэй, а не Джек сказал на ломанном английском, что никогда ничего подобного не видел!

«России – Уруй! Айхал» – провозглашал на поклоне Андрей Борисов, – Китаю – Уруй! Айхал». И актеры на сцене, стоя за ним, как за главнокомандующим, вторили: «Уруй! Айхал! Уруй! Айхал! Уруй! Айхал!».

МИНЕРАЛ № 1

Рассказ

В жизни великого «искателя алмазов» минералога Николая Андреевича Бобкова было много сокрытого, замолчанного, недосказанного. Молва восполнила все пробелы, оставив в «Алмазном мире» об этом четловые легенды, домыслы, продолжающиеся споры. Автор предлагает своё художественное переложение подлинных событий прервавшегося маршрута, подчёркивая присутствие вымысла тем, что Николай становится Андреем. Как и его спутница, которой в реальности была замечательный геолог и учёный Наталья Кинд, — Еленой.

Они уплывали на белом плоту, без паруса и крестовины, которую ставил он для сушки рыбы. Перебрав, перевязав плот на якутский лад, брёвнами поперёк, как ребристые меха гармошки.

Два чёрных ворона кружили в вышине. Кружили, плавно спускаясь к земле.

Бетер задул им в дороге, порывистый, бодрящий.

Плот летел, причмокивая о волны, словно зацеловывал, заласкивал страшный водный поток. И два человека, мужчина и женщина, в этом неистовом движении, в разворачивающейся поднебесной стихии успевали обняться, вжаться друг в друга и слиться в поцелуе. Скалы оковывали русло, сдавливали, наступали, причудливо нависая над людьми. И деревья, то словно измучено выползшие из камня, то, наоборот, будто выстрелившие из него, казалось, как и люди на плоту, существовали на самой кромке, на пределе, на грани гибели и жизни. Река шумела, гудела.

— Э-э-эй! — задиристо прокричал человек.

— О-го-гой! — грозно приструнили берега.

Стиснутые воды, словно с перепуга, мчались ещё быстрее, так что скалы и деревья становились неразличимыми, лишь менялись очертания того небесного проёма, который то ли виделся, то ли грезился впереди. А люди, он и она, будто только и ждали, искали всю жизнь этот пронзающий полёт — вдвоём, вместе, с чистым единым биением сердца.

По ребристому перекату сложенный брёвнами поперёк течения плот мчался, изгибаясь, подобно воздушному змею. Его крутануло в водовороте, захлестнуло волной, он исчез под водой и тотчас выскочил, сгорбившись, будто сплавившийся чебак. И по всему, людей должно бы смыть с него, но они были на плоту, крепко вцепившись в вязки и удерживая друг друга.

После вихрящегося скольжения меж скал течение реки казалось мерным, привольным. Они в отдохновении ликовали: живы, всё позади! Как тут же увиделось, что самое опасное — впереди. Русло рассекал клык скалы — ровно по золотому сечению, отметил Андрей, успев мысленно набросать рисунок. Разлученные воды реки дыбились пеной и обрывались в никуда. Кормило в его руке стало само воротить к берегу: требовалось отдышаться, присмотреться, собраться духом.

Деревья на отлогом берегу словно шагали навстречу, в воду. Их подмытые рекой корни казались когтистыми лапами, высоко замахнувшими над землёй, причудливо перекрученными и цепко впивающимися в почву. И зловеющий самоубийственный порыв виделся в этом карабкающемся массовом шествии. И сказочная, величественная мощь.

Двое вытащили на берег угол плота. Пока он привязывал его, она подошла к лиственнице, ветви которой были обвязаны салама — бесчисленными тряпочками и верёвочками из конского волоса. Каждый, кому надлежал путь дальше по реке, подходил к этому священному дереву и отдавал что-то от себя — повязывал ли узелок, бросал ли монетку или оставлял под деревом часть еды. Так со временем стали делать все: верующие и коммунисты, местные и приезжие. А если кому-то и не позволял устав, то всё равно поглядывали на дерево с уважением и мысленно просили прощения, что не исполняют положенного обряда. Здесь никому не хотелось играть с судьбой. И вопреки разумению или убеждениям, физически ощутимым становилось присутствие духов тайги, земли, воды и неба.

Повязала салама и Елена. Андрей тоже подошёл, торопливо — как всё, что он делал, кроме занятия камешками, — стал шарить по карманам. Ничего не нашёл, и Елена протянула ему булавку. Он помедлил, понимая, что для женщины в дороге это вещь бесценная, но она сунула ему булавку в руку, и он пристегнул её к ветви.

Двое мысленно просили Великого шамана помочь им, как помог он своему младшему брату Ойустору, когда тот на берестяной лодке убегал от страшных людоедов, уже порешивших всё племя. Великий шаман тогда вздыбил в три гряды камни на пути злодеев, которые и стали потом порогами, или, как на казачий лад называли старые якуты, шиверами Куччугуй Ханом, Юс-ее и Улахан Ханом. Последний из Большого Хана геологи переименовали в Большую кровь, так много людских жиз-

ней осталось на этих шиверах. Великий шаман не только водрузил преграды, но и, спасая брата, повернул вспять течение реки: прежде Вилюй был рукавом батюшки Енисея, а с той поры прирос к матушке Лене. Так рассказывали местные якуты и эвенки, правда, Лену они величали не «матушкой», а «эге» — «бабушкой».

И вновь их уносила река. Буйный поток мчал плот встреч пенящемуся водному обрыву. Ноги сами начинали упираться, будто можно было сдержать это движение, притормозить, а то и дать обратный ход. Но путь оставался только один, вперёд, в бурлящую пропасть или в стремя жизни.

Скоро с хода миновали пороги Малого хана, и опять люди поторопились радоваться. На тихом, ровном с виду месте, плот странно потащило по дуге, вернуло вспять, и стало водить по кругу. Мерно, спокойно. Будто в самом деле там, в омуте, черти водились, зацепили снизу верёвкой и крутили, посмеиваясь. Или не вода это вовсе, не река здесь, а чудовище громадное разинуло пасть и неторопливо, с наслаждением заглатывает деревянное судёнышко с людьми.

Андрей удерживал наискось кормило, старался идти по самой кромке омута, учитывая законы физики. Центробежные силы при наибольшем радиусе должны бы вынести плот за пределы вращения, но омут жил по иным законам. Плот вновь укатывало в сердцевину, отбрасывало вспять, изматывая людей. И зазывное, усыпляющее, далёкое, множась голосовое пение вдруг протяжно донеслось из-за береговых скал...

Из уроков истории они помнили про Одиссея, который всей корабельной команде велел залить уши воском, а себя приказал накрепко привязать к самой высокой мачте, дабы миновать остров сладкоголосых сирен. И как рвался он, привязанный в бочке к мачте, как манили его своим пением сирены! Бобков это понял, когда в первое своё поисковое лето с рабочими и геологами прокружился на плоту в водовороте два дня и две ночи, а к третьему закату солнца послышался голос сирен. И ведь знал он, и другие знали про Одиссея и сирены, но никто и представить не мог, что подобное может быть вправду. И не хотелось верить. И не верить было нельзя: голоса ветвились, убаюкивали. Ну, может быть, от кружения, от постоянного сверлящего шума воды всё это просто слышалось, хотя слышалось всем. И так хотелось лечь и заснуть, и забыть обо всём, и будь, что будет.

Старый каюр Сахсылла, сопровождавший тогда геологов, наверняка ничего не знал про Одиссея, но словно дождался нужного часа. «Абаасы», — кивнул он, прислушиваясь. Развёл костёр, накормил огонь, плеснул тёплого масла по обе стороны, окропил себе лоб и запел сам. Мало кто понимал слова, но каждый слышал, что каюр, сделавшийся тойкосутым, поэтом и певцом сразу, повёл рассказ о себе, обо всех, попавших в ловушку духов воды, земли и неба. Как повествуют тойкосуты о событиях былых и настоящих в дни празднеств, как заводящий представляет каждого в осуохае — танце единения душ. Только размеренней, неторопливей, помня, что не с людьми, и не в праздник, а с верховными судьями судьбы ведёт он разговор. И они, выслушав, решат: достойны ли эти люди дальнейшего пути. Жизненного пути достойны ли? Им, верховным силам, не обязательно нужна твоя жизнь — им довольно рассказа о ней, если он правдив и достоин. Если же тебе нечего сказать о себе, или есть причины, по которым ты не можешь этого сделать — ты нагрешил, ты был бесчестен или просто лишён голоса своего, то ты сам предрешил свою участь.

Двое на плоту не умели складывать тойук — песнь, рождающуюся тотчас, потеряв и почти забыв эту способность древних прародителей — сказывать, баять, призывая в тягостный миг всю скопившуюся за времена родовую мощь. Но память, толкнувшееся из глубин корневое знание, вызволили то же самое. Они запели. Песню, сочинённую не ими, слишком уж вживлёнными в своё редкое, словно спрессованное вре-

мя. Старинную, русскую, через которую им было даже легче рассказать о себе.

То, ох, не ве-етер ве-етку кло-нит,
Не-е дубра-авушка-а-а шу-мит,

И рыбы, рыбищи, серебристые чирьи и златоспинные нельмы всплывали, кишмя кишели вокруг них. То ли собрались на голоса, послушать состязания людей с абаасы, то ли показать слабым людям свою силу и превосходство в стихии вод. А щуки, здоровенные, обнаглевшие, потому как никто их здесь не считал за рыбу и не ловил, даже хватали зубами за весло.

Любите, пока любится...

Пели двое в водовороте среди играющих рыб уже озоровое. Да ему и весело было. Ничего иного он и не искал для своей судьбы, и не желал. А стремился сюда, в пороги, в омут, в неистовое речное движение с той поры, как себя помнил — как услышал про Христов камень! Христовым камнем называли громадный метеорит, упавший некогда вблизи его родной деревни: сельчане крошили его и употребляли как снадобье. Помогало! А впоследствии выяснилось, метеорит тот состоял в значительной мере из алмазов. Он знал, что отправится за своим Христовым камнем, когда с котомкой уходил из деревни, приезжал в громадный город, носящий имя самого Ленина. Когда умирал: на войне, в плену, в концлагере, в победе — звали его эти неведомые тогда места, и зов этот помогал ему выжить! И наконец-то он пришёл сюда, он был почти у цели, вместе с дивной женщиной, смелой, сильной и неразгаданной, как эта река. И не могла природа так просто, легко пропустить их, они должны были сражаться, доказать ей право своё! И только язвенная болезнь стреляла вдруг тьму в глаза: он чуть приседал. Но бьющие, цепляющиеся за конец весла щуки подбавляли бойцовской злости, напоминая об опасности.

— Не бывать вашему пиру, волки вы водяные!

Она принадлежала к среде, изначально искривлённой доглядом. Вот призналась, что была замужем за Марком Ярушевым. Но как она за него вышла? По политическому обвинению он три года отбыл в лагере. Вдруг его выпустили. И один ответственный работник в тёплом дружеском разговоре мягко предложил ей присмотреться, помочь выйти на верную дорогу другу её детства. И она согласилась: ей это показалось замечательным — помочь человеку, пожертвовать собой, своей ещё не обретенной любовью. Так они поженились. Марк получил интересную работу и с настораживающей скоростью стал продвигаться по служебной лестнице. Его назначили одним из руководителей геологической структуры, куда попасть даже в качестве рядового сотрудника можно было только через серьёзные проверки, фильтрацию. Она стала остро ощущать этот догляд. И предложила Марку развестись, тем более, что он уже и не нуждался в её помощи. Ей хотелось работать и... любить. При всех похвалах, при всём обилии комплиментов она не была уверена, что являет из себя талантливого учёного. По большому счёту, для неё это не имело решающего значения. Но одно несомненное редкое качество она за собой знала: видеть и ценить талантливых людей. И именно это свойство было ей не безразлично. И наконец — догляд, напыщенная серьёзность отчётов, фиктивное соавторство научных рефератов — всё осталось там, где - не имело никакого значения, как на самом деле не имело никогда значения для неё. Здесь — всё было настоящим. Десятилетие она занималась поиском коренного месторождения самого ценного, самого твёрдого минерала. Андрей Бобков был подлинным «коренным месторождением». Нёс в себе бесценный неодолимый талант. Он шёл к цели, и она была рядом с ним. Она открывала его, а он для неё открывал самую жизнь.

Встречайся, пока встречается...

Свербящие голоса абаасы начали утихать, уползая змеями в расщелины и пещеры. Замолчал и Андрей, прислушиваясь, показывая рукой Елене, чтобы она продолжала. И так же чудно поплыл в ночной тиши над рекой светлый колыбельный распев её.

Ми-леньки-ий ты мо-ой...

Плот выщелкнуло из омута, словно звено цепи из кольца. И он поплыл, поплыл себе дальше, легко, спокойно, будто тыкался по дому в потёмках человек, метался, а потом открыл дверь, вышел — и куда как проще! Двое приобнялись счастливо, но уже не спешили радоваться — тешиться радостью, — дабы не нарушать единого дыхания с рекой, не забывая, что они здесь гости.

Причалили к берегу, на ночлег. Прибывший сюда по уговору каюр сказал, что в этом месте останавливаться нельзя. Он указал на дерево у берега, чуть стёсанное сбоку. На старом потемнелом стёсе виделось резное изображение: две пущенные друг в друга стрелы. Это означало, что когда-то здесь в соперничестве между людьми или, может быть, целыми родами пролилась кровь. С той поры ненасытные духи вражды вновь и вновь вселяются в людей, задержавшихся на этом порченном месте.

— Быть вражде, — твердил каюр, молодой ещё якут.

Но рядом, на противоположном высоком берегу удобно располагалась изба, давно срубленная и обжитая людьми из партии. База, где требовалось дожидаться самолёта.

— Мы не можем уйти, — улыбнулся Бобков. — От судьбы не уйдёшь.

Впрочем, здесь, на базе, ночлеге для многих, Андрей с Еленой и не собирались задерживаться. Им лучше было вдвоём: переночевать, и в путь! Каюр кивнул: на противоположном берегу, это уже на другом месте.

Парень пообещал вечером накормить их карасями и отправился на озеро. Они переправились на лодке, поставили палатку почти у самой воды.

Он занялся картой, пытался вычертить схему маршрута, но нигде не мог пристроиться: то ходил с ней, как с плакатом, то присаживался, обматывая вокруг колен. Конечно, он больше дурачился.

По его глазам, по внезапному напряжению, когда зрачки будто оттягивало вглубь, она видела, что при всей весёлости болезнь всё круче схватывала, рвала ему нутро. Она толкла, мельчила горох в порошок, добываясь того, чтобы получилась почти жижка, как тыквенный сок.

Он оставил карту, бросился помогать, опять же дурашливо орудуя молотком: изучал кристаллическую основу гороха!

Он был просто счастлив! К боли, к телесному страданию он за жизнь привык. А вот счастья — близости того, о чём мечталось, к чему стремился годы, что иногда казалось несбыточным, и вдруг вот оно, совсем рядом! — счастье было нестерпимым. А боль он дюжил.

Послышалось гуденье самолёта. Они вспомнили, что надо ещё успеть написать письма — отправить с пилотом.

Он черкнул несколько строк жене и сыну, поняв, что соскучился по ним. Что они ему самые родные. Почувствовав, что та, которая рядом, вдруг отдалась. Ощутил удивление, что сердце тянется к той, родной. А почему перед этой он испытывает такое благоговение? Он глянул на неё, тоже в своём послании ушедшую куда-то, улечившуюся. И вновь до сладости испытал это — чарующее благоговение. Она сидела на траве, уложив колени набок, с выгнутой спиной и чуть склонённой, удерживаемой вполоборота головой. И волосы были уложены, будто не в тайге она, не из похода, а только что из парикмахерской. Когда же она успевала их уложить? И как похожа была она движениями линий на эту реку. Прекрасную: то своенравную, то поразительно кроткую. Она — река.

Самолёт дал круг и приземлился на той стороне, где ему и надлежало. Подул винтами и словно назвал ветер.

«Фших-х», — пронеслось по верхушкам деревьев. «Ф-фш-ших-х-х», — потемнело вдруг. Стебли деревьев забили друг о друга.

Пока двое плыли в лодке на другой берег — полетел косо, беспорядочно, стружьями снег. Будто рвал там кто-то небо клочьями, выжимал соки и расшвыривал пригоршнями по земле.

От самолёта, сгибаясь от ветра, бежали люди.

О том, что происходило дальше, казалось, потом даже птицы и звери сказывали криком да вытьём, и деревья в тайге шумели, так и оставаясь с растопыренными от полного непонимания ветвями. А уж люди судили и честили на разные лады с того времени и по сию пору.

Оттого со временем всё начало слышаться гулким, будто за каждым гуляло эхо, и видеться вытянутым и гнутым, словно тени ходили за каждым.

В непогожий вечер, когда ни лететь, ни плыть, ни пешком идти по неведомой тропе было нельзя, шестеро собрались в лесной избушке. Была у них на всех пол-литра спирта и наваристая уха из жирных озёрных карасей. Впрочем, на русский вкус это не называлась ухой, а, скорее, караси со щербой: каюр сварил карасей, не добавляя в воду ничего, даже соли. Караси были крупные — невиданных для иных земель размеров, — округлые, как лепёшки. А щерба — карасиная юшка — мутно-белая, как топлёное молоко.

И спирт, и заправка — щерба с порами тающего молочно-белого жира, — и снимающееся легко с ребристых костей нежное, липкое карасиное мясо, всё должно бы утешить людей и раздобрить, как размягчает всегда ядрёная выпивка и добрая закуска. Так оно и случилось. Все ели, наворачивали за оба уха, и даже Бобков, гладомырь, со смаком прихлёбывал щербу из своей любимой эмалированной мисочки. А скоро из избушки посылались песни, стал вдарять громкий смех.

— И вот этот дурень, — рассказывал лётчик Савва, — угнал самолёт! В руках ничего, кроме совковой лопаты, никогда не держал, а тут сел за штурвал, и чтоб вы думали, получилось!

У Саввы были тёмные вьющиеся волосы, озороватая улыбка не сходила с его губ, и красивый птичий носик как-то заинтересованно нависал над говорливым, широким ртом. Но по виску и по челюсти к шее спадали заметные шрамы, что придавало лицу выражения особой лихости, и располагало к человеку.

— Главное, начальство прибыло на фабрику, люди собрались. Идёт встреча, выступления, смотрят — самолёт полетел. Ну, полетел и полетел. Этим, с фабрики, дела нет: посадил самолёт начальство и улетел. А начальству в голову прийти не могло, что на их самолёте кто-то решил полетать. И я смотрю, думаю, самолёт-то как на мой похож?.. А потом смотрю: так это ж мой самолёт! Ну, тут паника. Первая мысль: диверсия. Стали смотреть — кого нет? Ага, одного, из бывших. Понятно. Кража. Кинулись к нему, на его место. Все вещи целы, в спальнике деньги нащупали, припрятанные. Если человек свершил кражу, то зачем ему оставлять свои гроши? Кто-то вспомнил, что у него в деревне, неподалёку, бабёшка есть. Другая версия: выпил и решил подружку попроведать! Радиogramму туда. Отвечают, самолёт замечен не был. Что ты будешь делать? По всем аэродромам радиogramмы. Самолёты подняли. И чтоб вы думали: этот герой излетал всё топливо и на последнем дыхании, когда двигатель стал глохнуть, захлёбываться, на бреющем полёте посадил самолёт на береговую отмель. Там место — в размах крыльев, не каждый опытный лётчик справился бы! То есть ни кражи не было, ни, так сказать, к даме сердца он не собирался. Просто захотелось человеку полетать!

Смеялись все: чудили в этих землях немало, но «летун», похоже, всех перечудил.

— Полетал — годков эдак на десять! — прикрякнул натруженный моторист, тряхнув пачкой «Беломора».

— А по-военному времени, так и вышку бы дали! — оптимистично оценил молодой радист.

— И сейчас бы так надо! — тихо, но зло сказал невзрачный человек. — Три шкуры надо драть за такие вещи!

Андрей Бобков всегда чурался компаний. Особенно, когда шло веселье. Не то, чтоб ему прискучивали шутки, разговоры и балагурство — он терялся. Ему, столько знавшему, повидавшему, вдруг становилось нечего сказать. И смеяться он вовремя забывал, а то разбирал смех, аж до слёз, да позже, когда все уже отсмеялись. Обычно он отсиживался в сторонке, чтоб не наводить тень на плетень, думал о своём, слушал. Случались бумага и карандаш, рисовал. Это его и оправдывало в глазах людских — ну, сидит человек, рисует. Тем более, что он потом дарил свои рисунки.

На этот раз у него не получилось отсидеться в сторонке. Не только потому, что он не мог оставить Елену за столом с мужчинами одну: она, впрочем, и не осталась бы, а приютилась бы скоро рядом с ним, и пошла бы по швам вся вечеринка.

Она бы и теперь не стала томить его присутствием в застолье, увела бы, кабы не видела: охота ему побыть с людьми. Ему и нужно было побыть, хотя бы для того, чтобы не намозоливать душу свою думой о завтрашнем, не проделывать до очищения и без того захоженный в воображении маршрут. Кто-кто, а Елена Владимировна хорошо знала, что Бобков вовсе не был молчуном и нелюдимом, каким его считали. Он бывал даже многоречив. Когда они вдвоём. Когда речь шла о том, что ему интересно. Когда это было интересно и тому, с кем он вёл разговор.

— Главное, — продолжал Савва, причмокивая от рыбьей липкости, — был бы мальчишка, а то мужик лет двадцати пяти! Его едва от штурвала оттащили! Сидит, здоровый, как лось, на глазах слёзы, всю жизнь, говорит, мечтал полетать! Сбылась, говорит, мечта-то!..

И всё было хорошо. Всё ладно.

И каждый, кто оставался в избушке, так ничего толком потом не мог рассказать, будто никого из них там и не было. Каждый твердил, пуча глаза: сидели, тары-бары, растабары, мирно, весело, вдруг... И каждому казалось, что седьмой, каюр, был всегда с ними. Никто не заметил, как он ушёл.

А он ушёл сразу же, выложив на чашу сваренных карасей и разлив по кружкам щербу. Он лишь чуть помялся, пригубил всё-таки спирта, и как ему ни хотелось остаться ещё, и людей послушать, и выпить, всё же ушел. Сделал глоток, поставил кружку и, пока не заиграло внутри, не задержало, быстро вышел.

— Вражда был, — толковал он позже, — старый вражда. — Но не мог объяснить: откуда ей взяться, если Андрей и этот Савва почти не знали друг друга? Между кем и кем вражда?!

Приметливый Андрей уловил два взгляда, стеблями долгих водорослей всплывшие на поверхность.

Елена невольно засмотрелась на лётчика Савву, как нельзя не обратить внимания на красивого уверенного в себе человека. К нему были развёрнуты и все мужчины. Он был центром. Он возвышался над другими.

— Ах, как славно! Как это славно! — вдруг нараспев вырвалось у Бобкова.

Он тоже посмеивался: короткими разрозненными смешками. И глаза малость странновато горели.

— Мечтал полетать — и полетал! Полетал-таки!

И сразу же товарищ Бобков отъехал в человеческих глазах не в сторонку даже, а в тёмный угол, в даль дальнюю, в подследственную камеру рядом с этим летуном, где ему, вполне возможно, при таких суждениях и надлежало быть. Про него знали, что он талантливый минералог. Пока лишь по слухам. Но также в этой засекреченной и подведомственной жизни знали, где он провёл войну.

Люди сделались на одно лицо, будто каждый из них получил назначение в инструкторы или кураторы.

— Будь моя воля, я бы этому мечтателю дал бы такую возможность: летать!

Бобков словно не заметил, что его не понимают. Не принимают. Даже рабочий Слава, который, что называется, смотрел ему в рот, ловил каждое слово, всё более вжимался взглядом в монолит. Или не хотел замечать.

— Наказал бы — две недели без каши, — Бобков как-то издевательски посмеивался, — а потом — в училище бы его лётное! Глядишь, и новый Чкалов бы объявился.

Бобков сидел с краю. Стол словно проломился меж людьми.

— Чкалов?! — округлые Саввины щёки вмиг пошли накось, превратив лицо в зубчатую твердь. — Чтобы стать Чкаловым, знаешь, что нужно?! Знаешь, сколько здесь погибло ребят, классных лётчиков, в снегу, во льдах, в скалах? И они ещё не Чкаловы!.. А тут на тебе, Чкалов выискался!

Лицо пилота вытянулось, вылезло вперёд на полстола, будто петушиная голова с дыблящимися перьям на шее.

— А если б на войне? Если бы на войне? — рвался в бой радист.

— Вот! — рывком засучил рукав натруженный моторист.

Линией фронта легла через стол его изуродованная ранением рука.

— Я парнишкой совсем попал на фронт. В пехоту-матушку. А тоже в лётчики собирался. Получил ранение под Киевом. Оказался в окружении. И вот шёл, нёс вот так эту руку — она, считай, оторвана была. На жилочке болталась. Шёл и нёс, потому что тоже думал о штурвале. Как я потом смогу без руки-то?! Думаю, лишь бы сознание не потерять, не упасть. Дошёл. Меня сразу на стол. Оперировать. И вот слышу, врач-то говорит: «Ампутация». Ах ты, думаю, я её принёс, а ты!.. И вот лежу на столе и говорю ему: «Отрежешь руку — застрелю. Гадом буду, застрелю!» Сказал, и потерял сознание. Ну, потом очнулся, смотрю — есть рука! Пальцы сначала не шевелились, а теперь — вот... Лётчик, не лётчик, а с моторами справляюсь. Так, может, меня бы лучше, в училище-то лётное?! — Моторист помял пальцами папиросу, дунул в её полуку часть.

— Чтобы это понимать, нужно было пройти войну, — вздохнул тихий невзрачный человек.

Он крутил в руке спичечный коробок, ставил его ритмично на попа. Сказал со вздохом и неторопливо поднялся на выход, нащупывая курево в кармане. И все, похлопывая себя по карманам, доставая сигареты, направились к двери.

Рабочий Слава задержался в растерянности между столом и дверью, не зная, выйти ли за другими или остаться с Бобковым и Еленой Владимировной. Но тихий тщедушный человек, который хоть и поднялся первым, но выходил почему-то последним, чуть подтолкнул молодого рабочего рукой, как бы уступая дорогу.

Елена придвинулась к Андрею, игриво толкнула плечом, улыбаясь, давая понять, что всё хорошо, пустячные столкновения не имеют значения. Он также улыбнулся, усмехнулся, тронул плечом Елену.

— Я выйду, — зашарил он тоже себя по карманам, — с мужиками.

И она кивнула. Кивнула с тем пониманием, что надо ему выйти, быть с другими. А то они всё неверно истолкуют. Понятно же, почему. То есть, конечно, совсем и непонятно, по полному недоразумению. Но надо быть вместе.

Он вышел. И мужской разговор стих.

— Не очень-то жалует нас погода! — попытался обрести он этот самый общий язык.

Люди молча затягивались, выпускали дым. Если прежде кто-то из компании мог не знать, где ему довелось провести почти всю войну, то теперь, похоже, все были осведомлены.

— Погода здесь изменчива, — опять вздохнул невзрачный.

Он, кажется, и не курил, а лишь поигрывал коробком. Сказал и пошёл в избу. И все, сделав последние затяжки, направились за ним.

Бобков остался один. Присел на лавку у бревенчатой стены. Точно было от самого себя. И чего он кинулся набиваться в компанию? Сидел три года в своей заперти, и не надо из неё выходить. По крайней мере, пока. Пока дело не сделано. Но пружину эту, сжатую внутри его, кажется, некуда больше сжимать. Вот беда-то... Стремление это, рвение души свершить что-то, сделать значительное, важное жило в нём всегда. «А вот если бы завтра ты смог стать таким же великим, как Ленин? — спросил он однажды товарища детства. — Ты согласен был бы завтра же умереть?» И тот на него выпучил от удивления глаза: «Зачем это мне, мёртвому-то?» А он был согласен. Звало к свершению его сердце. И когда ехал поступать в институт, и в те дни на передовой, когда командовал батареей, и в плену — в плену особенно. Там, в плену, одни стали прибиваться к своему, родовому, и тем спасались, другие отстаивали в себе веру в коммунистическое завтра и крепили дух этим, он силён был своим зовом. Думалось так: Родине послужить, России, Руси. И распевно так, широко и могуче звучали эти слова, то вдруг щемяще, жалостно, вопрошая к защите, как вся судьба его. И хотелось сопротивляться, драться, защищаться. Но думалось и о том, что вот послужишь ты, порадеешь, не щадя сил, и принесёшь в ладонях своих столь нужное всем, и приветят тебя, и почтят, и полюбят. Незнакомые люди, страна.

Андрей вдруг ощутимо физически обнаружил присутствие ещё одного человека. Незримо он здесь был уже давно.

— Мы с вами не годны для героев, — присел на лавку слева мудрый Марк Михайлович. Главный геолог, соавтор, бывший муж Елены. — Мы можем заниматься наукой, разрабатывать проекты, которые будут знать узкий круг специалистов. До которых народу нет дела. Народ должен узнать героя — первооткрывателя. Того, кто пришёл, увидел, победил. Никому не важно, что за ним годы труда тысяч людей, ночные бдения учёных, уже свершённые ими, по сути, открытия. Народу нужны конкретные герои: Матросов, Стаханов, Челюскин. Я пережил лагерь, но полностью реабилитирован. Следственная ошибка. И то понимаю, что нельзя. Нельзя с таким пунктом в биографии быть героем. А вы, милейший, Андрей Николаевич, метите в герои с тремя годами немецкого плена! С тремя! А потом ещё и американского! Да вас могли там завербовать и перевербовать! Но партия поверила вам. Отправила на ответственнейший участок работы. Партии нужны способные специалисты: способные заниматься конкретным делом. Но героем у нас, как известно, может быть каждый. Герой — призван принести нравственные уроки всему нашему обществу. Это человек кристально чистой биографии. Вам, как минералогу, надеюсь, не следует объяснять, что такое кристально чистый. Так что... Вы меня понимаете?

Понять было непросто: милейшая улыбка блуждала на губах его, и всё, чего бы он ни касался, лишалось абсолютно какого-либо смысла.

Елена вышла из избы. Бобков всё сидел на лавке, скрестив от зябкости руки на груди. Присела рядом, справа. И незримый Ярушев сразу исчез, скользнул за угол, наострил там ухо.

— Я хотел бы стать героем, Лена. Скажу тебе честно, да, хотел бы, — проговорил вдруг Бобков страстно. — Хотел бы, за войну. За то, что там не стал. Хотя, может, и не в чем мне себя упрекнуть. Ты знаешь, я ушёл добровольцем, был командиром орудия, мы стояли... Не случилось. Я до сих пор не могу приехать в свою деревню. Знаешь, после первого курса, экзамены сдавал, и всё представлял, как приеду... Студент! Из Ленинграда! Война. Потом, после войны приезжал. На один день. Хотел бы — с чистой душой по деревне пройтись! Но самому для себя мне этого ничего не надо. Никаких там... Просто я боюсь не успеть... Вот чего боюсь.

Она сама боялась этого: его болезни. Понимала, что ему надо бросить всё и лечиться. А также знала, что пока он не пройдёт свой маршрут, не добьётся своего, бесполезно говорить о лечении.

— Успеем, — погладила она по его по русской голове. Задержала руку: на темечке, как у младенца, билась жилочка.

Они вернулись в дом.

— А почему вы не дождались меня там, на Ахтаранде? — лётчик обращался теперь к одной Елене, так, будто она и дожидаться должна была его одна.

— Мы были не уверены в погоде, а время не терпит, — размеренно улыбнулась Елена Владимировна.

— Всё равно пришлось меня ждать здесь — без меня вы никуда.

При смехе у Саввы сладкими с изюминками булочками округлялись гладкие щёки. А шрам, словно резцом вычерчивал крутой, рыцарским забралом вздёрнутый подбородок.

И вновь Андрей заметил колыхнувшиеся водоросли в глубоких водах её глаз. «У-а-х!» — береговым обнажением что-то рухнуло навзничь внутри. «У-а-х!» — разбился под темечком крик. Больно было не то, что она посмотрела. Ну, посмотрела и посмотрела, не без этого. Больно, что она посмотрела так, как смотрела на него. И как только, ему казалось, на него она и может смотреть. Так особенно. Влажной пристальностью двух тихих омутов. Он видел в них себя и думал, что это только его отображение.

— Хромает дисциплинка, — игриво грозил Савва пальцем: он словно получил право быть таким, назидательно-ироничным, — хромает...

И опять, даже здесь, в приоткрывшихся воротиках судьбы своей, к коей он докарабкался, дошёл, поднялся, наконец, даже здесь опять знали за него, как ему жить. Когда там, в плену, всё знали и решали за него, — там был враг, вражий стан. Но здесь-то, в своей стране, дома, среди своих, здесь-то почему все за него всё знают?! Почему он опять дурак, Ванька, которого валяют?! Он, учёный, проведавший тайну этой земли, единственный, может быть, да, единственный, пока её прознавший!..

Заиграли, обострились желваки на исхудавшем лице, сжался до боли кулак, готовый стукнуть по столу, прекратить этот балаган! Но застолье уже миновало то, что должно бы вызвать его гнев. Мужчины запели. Фронтвая, победная «Катюша» будто для того и грянула, чтобы поставить на вид: не имеют права такие, как Андрей Бобков, ширить от полноты чувств грудь, лишней он в стройном, плечом к плечу сомкнутом бойцовском ряду!

Он вспомнил, как гонял с сокурсниками футбол на стадионе: заканчивались экзамены, завершался первый курс, и мысленно он уже был дома! Вдруг чёрное ухо радио в углу стадиона заговорило тяжёлым голосом. Все парни дружно ринулись в военкомат. И пока ждали призыва, пугало только одно, что они не успеют и фашистов разобьют без них. Вспомнил как таких же, несокрушимо уверенных в быстрой победе юнцов, увозили неведомо куда в битком набитом вагоне: его тогда вдруг поразили странные, нелепые, будто в игре «замри», улыбки на лицах парней. И себя поймал на той же идиотской улыбке. Через время он понял их причину: врага должны были победить малой кровью, разгромить на его территории. И никак не укладывалось в голове, не входило в толк, что это они оказались в плену у врага! Улыбки скоро исчезли. Но вера — нет. Бывали минуты смятения, когда будущее виделось чёрной бездной, но тотчас, вопреки страху живому, поднималась в груди, крепила дух алмазной твёрдости вера: победа будет! Дыхание её начало чувствоваться, когда пленные из «несоветского» отсека стали дружелюбнее помахать руками, подкармливать, да и надзиратели делались осмотрительнее.

Песнь мирной жизни зазвучала в застолье. Хорошая, любимая Андреем. «Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова...» Он попытался подпеть, не получалось, будто набрал в рот тяжёлых камней. Выходило, что Савва любил эту жизнь больше и звонче хотел, чтоб стала она луч-

ше. Но главное - правильное любил! И каждый из подпевавших любил и стремился в её лучшее завтра так, что, вроде, как в ней не было места для Андрея Бобкова.

Электрическая лампочка, питающаяся от дизельной станции, то ярко вспыхивала, то притухала. И в бегающей, отбрасываемой тени мужские лица все, как одно, вновь делались похожими на Аганиного бывшего бдительного сокурсника, ставшего куратором. Он словно проступал в лицах, и даже в юнце с вздёрнутым носом кураторское право на истину выдавливало тяжеловесную судилищную печать.

Ах, кому это попала ледышка в глаз: ему ли, заиграв огоньками в хрусталиках, или ещё кому, холодом волчьего страха засветившись в вечноной ночи?

Не открывая дверей, юркнул в избу и Ярушев. Присел в сторонке, в полутемени, за световым кругом. Достал колоду карт увлекавший всех вокруг этой игрой, большой любитель преферанса, перетасовал и стал сдавать. Выбрасывал приманивающе пикантные картинки и смотрел с умиленнейшей улыбочкой, исполненной иного, волглого, маслянистого всезнания.

— На войне человека было сразу видно, — задушевно проговорил неказистый человек в ярком отсвете. — Солдат он, который будет стоять до конца, или хлюст, который от страха может бросить винтовку и поднять руки.

Поэтому и было непонятно, когда Бобков вдарил кулаком по столу так, что подпрыгнула посуда, и побежал чай из опрокинутого стакана. С чего это он? Сидели, пели. Вдруг вскочил, заблажил:

— Эшелоны везли! Эшелоны пленных!.. И Рокоссовский здесь сидел, свои посадили! Тоже хлюст?! А почему Маяковский застрелился?!

Куда ещё ни шло про эшелоны, про Рокоссовского — хотя бы понять было можно. Но чего он Маяковского приплёл?! Тогда Савва надменно посоветовал:

— Закусывать надо.

Что здесь уж такого обидного?

— Я знаю, что мне надо! Знаю!.. — прокричал Бобков так, будто у него отнимали самое дорогое в жизни. — Ты мне не указ!

И только тогда уже взорвался и Савва.

— Это ты мне не указ. Ты вообще для меня никто. Прихвостень фашистский, вот ты кто!

Бобков рванул стол, вскочил, словно распрямилась тугая пружина внутри его.

Андрей шёл по избе, как бы ещё приглашая на бой, на середину. Драться ему приходилось и в детстве, когда задразнивали «пятёрочником», и в плену. Он был сноровист и ловок в драках. Вдруг его словно переломило, скрючило. Кулак здорового человека пришёлся снизу, под дых, прямо в язвенную точку, приподнимая, выворачивая живот. Короткий, молниеносный этот удар со стороны виделся лёгким тычком. Андрей распрямился, стал настороженно примериваться к противнику, но на его плечах повисли, кинулись удерживать, заламывать руки. А он рвался и не понимал: почему-то держат?! Его скручивают? И самое чудовищное — всё это было при Елене! Она всё видела, его позор, бессилие. И хуже того, она тоже металась вокруг него, пытаясь остановить!

Савва в охотку ещё наподдал зависшему в чужих руках противнику. Елена бросилась теперь к нему. Господи, стыдоба несусветная, она же, выходило, его и защищала! Но опять же так, взывая к разуму Саввы, мол, связался с младенцем... И тот был снисходителен, дескать, на кого он рогом прёт, этот Васёк, у меня же семь спортивных разрядов...

Бобков крутнулся, выпал из рукавов своего свитера, выскочил в дверь, успев крикнуть в страстях: «Пристрелю!»

И этот собственный крик долго нагонял его в потёмках, горячил и противно жалил. Так, скатываясь по берегу во мрак к тяжёлой, словно

замершей в ночи водной глади, он уже когда-то бежал из плена. И пули шлёпали рядом, и надо было вперёд, вперёд, без оглядки, и страх кола спину, и радость желанной свободы подбавляла сил, и вода спасала, укрывала. Он уходил тогда длинными нырками, глотал воздух и снова шёл под водой. Эх, хорошо, что он вырос на Волге, на могучей вольной реке, где каждый мальчишка называл себя человеком-амфибией.

Андрей приостановился на миг у лодки. Но тотчас понял, что если он возьмёт лодку, то она не сможет к нему переплыть. Была такая надежда, да и уверенность была, что должна она приплыть. Это всё и решало: как быть потом? Собственное обещание «пристрелить» теперь виделось постыдным, добавляло позора.

— Славка! — криком позвал он своего рабочего. Хотел, чтоб тот пере-вёз, а потом вернулся. Холодно — вплавь-то!

Люди мелькнули наверху. В оконном отсвете казалось, что их много. — Войну я закончил на фронте! — сорвано прокричал он ещё раз, туда, наверх. — На Втором Белорусском, под руководством маршала Рокоссовского! Под Берлином!

Длинные тени косами скользнули по отлогому берегу. И это уже когда-то было: только лаяли собаки, и стрекотал автомат.

С разлёту, не раздеваясь, Андрей прыгнул в воду. Ледяная вода, как огонь, опалила жгучими искрами. Потянули вниз наполнившиеся водой сапоги. На плаву он постарался скинуть сапоги, цепляя пятку за пятку, но они сидели туго на портянках, ноги застревали в подъёме. Так он и погрёб, пошёл вперёд с болтающимися сапогами. Стылость проникла внутрь: влилась в тело, словно в посудину, наполнила, скручиваясь где-то под ложечкой в мёрзлый ком. Наступила редкая ясность: все хороши. И все правы. Кроме него. Он и есть — помеха своему открытию. Такому близкому, и далёкому... пока он есть. И впервые, за всю его устремлённую вперёд жизнь, онемелая рука на миг, на долю мгновения потеряла стремительную силу своего движения. Пока он есть — и будет водить кругами по омуту. Пока он есть. Пока...

Он ещё крутнулся винтом, гребнул с той самой улыбкой, с которой молодых забирали в плен: руки-ноги не слушались, ровно их не было.

Она — река...

Шаман под старой лиственницей с летящими в друг друга стрелами степенно кивнул головой ему во след.

«Духи — жертва нужен», — беззвучно раздавалось во всю тайгу.

Сорвался с неба, полосонув до земли, рассыпался метеорит. Христов камень.

Она река... Ревнивые златокудрые русалки счастливо защелбетами во-круг него, повлекли за собой, на встречу к Хозяину земли и вод. «Ты, смертный человек, прознал, что ведомо лишь нам, — встретил его длин-нобородый дед, — с нами тебе и быть. А людям дорога отныне открыта».

Три дня и три ночи Елена металась по реке, плавала с рабочими в моторной лодке, которые бороздили воду баграми. Цепляли траву, под-нимали со дна топяки — багор вдруг наткнулся на что-то упругое, мя-систое, со страхом и надеждой тянули вверх, рыхлое древесное тело без-жизненно всплывало и тотчас ухало вниз, оставляя на течении облако мути. Теперь она становилась в душе росахой, готовый кинуться и загрызть. Знать бы точно, кого: много виновников являлись ей, и на каждого хватало бы у неё сейчас хищной злости. Но хуже всего, что хотелось покусать себя. Закусать в кровь! Она призвана была оберегать его, лелеять! Ведь его Бог ниспослал для неё — и его ниспослал для всех!

«Время не ждёт, голубушка», — ясно услышала знакомый ласковый голос на исходе третьего дня Елена. Он прозвучал справа, из-за спины, почти над самым ухом. Она обернулась, и даже почудилось, успела уви-деть его лицо: раздумчивое, улыбающееся, заботливое. «Да что случилось-то? — как бы говорило оно. — Мы ведь работники здесь, слуги. И дело надо сделать». Видела ли, нет ли, в следующий миг она уже не могла

точно сказать. Но понимание это, скрепившее стержнем, остальное: надо идти, только делом, подтверждением дела его может свершиться заветное, правда оправдится, а кривда скривдится. Кривда ссучится узелком, а правда распрямится.

Ей не терпелось отправиться в путь, словно бы в неё вселился его вечный непокой, рвение. Но прибыл следователь, и требовалось дать объяснение. Она теперь хорошо понимала, что с ним творилось до этого, до последнего дня, как нелегко, мучительно ждать с этим жжением в груди, с этим запалом в сердце. И как он умудрялся скрывать, казаться даже беспечным. И каким на самом деле скрытным был этот по природе открытый, как обнажение, бесхитростный человек! Она объясняла для себя прошлое, но никак не могла понять, что же всё-таки произошло там, в избушке? Что так выбило из себя? Что высекло искру? Неужто пустое слово, брошенное случайным человеком? И поднималось, волной находило чувство вины — точнее, возможной вины. Не в том, что не могла уберечь — как друг, любящий человек. Это вина понятная. А в том, что она — это она.

В одночасье тайгу облетела весть: Елена Владимировна нашла алмаз. Там, на Малой Ботуобии, где указывал ещё два года назад Бобков: он в лабораторных условиях всё высчитал с предельной точностью — если бы его тогда слышали! Нет, посылали туда, куда он не собирался, заранее предсказывая: «Отрицательный результат — для науки тоже результат».

Дело было так: после тщетных поисков тела в осенних вилюйских водах, дав показание следователю, она отправилась с небольшой партией строго по начертанному им маршруту. Остановились на берегу, развели костёр, перекусили. Елена ела кашу из любимой чашки Андрея Бобкова, постоянно чувствуя его присутствие рядом, вдруг слыша зов в шелесте жёлтых, срывающихся с деревьев листьев, угадывая свет глаз в переливах петливой речки. Поела и пошла мыть посуду. Начала споласкивать чашку, любовно проводя по окоему рукой, зачерпнула песочку, чтобы прочистить, и... со дна его чашки выстрелил луч! Она считала себя учёным, не хотела верить в чудеса, но это было чудом! Всё она делала — шла ли сюда, на эту реку, брала ли в руки чашку, — она делала по наитию, будто это не она уже, а кто-то другой, вселившийся в неё и присутствующий во всём, ведёт её, движет рукой. Она держала будто не своей рукой его чашку, в которой, словно осколок вынутого горящего сердца, пылал самый простой и самый ценный на земле минерал. Как принято было писать в сводках: «Минерал № 1».